

ЛЮДИ

ТЕТЯ НАТУСЯ

Я не знаю как где, но у нас, на втором лечфаке, те, у кого были врачебные амбиции, с четвертого курса начинали дежурить медсестрами-медбратьями и чаще всего — в реанимационных отделениях. И не только такие, как я, для кого сестринская зарплата была ощутимым подспорьем, но и ребята из семей, в которых подобные суммы погоды не делали.

По большому знакомству мне удалось устроиться в хирургическую реанимацию медсанчасти текстильного комбината. И сегодня, по прошествии тридцати с чем-то лет, оглядываясь назад, я считаю это одной из главных удач своей жизни. И не только профессиональной.

Больница та была особой: стратегический комбинат подчинялся напрямую Москве. Больница получала деньги не только от местного минздрава (или «минздох», как говорил мой папа), но и от комбината. А правило «кто девушку кормит, тот ее танцует» безукоснительно работало и в стране обобществленных средств производства. Говорили, что заведующих отделениями утверждал на должность директор комбината, и были они все люди штучные, или, как это называется в Израиле, — «калибр». И советская национальная политика с реверансами по отношению к одним и процентными нормами к другим этносам как-то отодвигалась на задний план. Состав был по-настоящему интернациональным.

Заведовал реанимацией ироничный красавец Вадим Ефимович. Нами, средним медперсоналом, командовала суховатая, резкая и справедливая старшая сестра Раиса Ивановна. Но настоящей хозяйкой отделения являлась нянечка тетя Натуся, она была всеобщая мать, всеобщая заступница, но при этом лаконичные и точные ее характеристики намертво прилипали к объектам. «Мудёнок» или «шалашовка» — после слов тети Натуси они уже иначе не назывались.

Образования не имела никакого, говорила, смешно переиначивая слова. Поликлиническое отделение называла «полуклиникой», поскольку по сравнению с реанимацией, где, случалось, и умирали, в поликлинике происходила медицина легкомысленная, несерьезная. На вопрос «Где ведро?» — отвечала «Окиле балкона». Я и сейчас так говорю, иногда ловя на себе озадаченные взгляды.

Была она замужем, муж ее был конструктор и еврей. Как они ладили при всех социальных, образовательных и культурных перепадах, я не знаю. Но ладили. Мужа своего тетя Натуся очень любила и даже покровительственно по-матерински жалела. Тем более, что детей у них не было. Отношение к мужу она отчасти переносила и на остальных евреев, считая их своими и нуждающимися в ее, тетинатусиной защите и опеке. Я ощущал это на себе.

Когда ближе к полуночи затихали обихоженные пациенты, все сотрудники интенсивной терапии собирались тут же, за занавеской, доставалась еда, заваривался чай. И начинались самые блаженные минуты общего трепа.

Если не было поступлений, остатки ночи делились между сестрами-братьями поровну, а остальные укладывались поспать. Врач — в кабинете заведующего, мы — на свободных койках в маленькой, проходной палате или на матрасике на полу. Укладывалась и нянечка. И тут начиналось представление. Храпела Натуся, словно реактивный самолет на взлете, и поделаться с этим ничего было нельзя. Казалось, что в ответ на ее децибелы открывали глаза пациенты под наркозом. Но поскольку поспать удавалось далеко не всегда, а работала тетя Натуся самозабвенно, не сачковала, на помощь приходила немедленно, то на сверхзвуковые ее способности все, условно говоря, закрывали глаза.

Запомнился мне один разговор. Среди ночи собрались мы за занавесочкой у накрытого домашними разносолами стола. Взяв свою чашку, я выдохнул:

— Господи, как я устал.

— У нас в деревне стыдно было говорить «устал». Я и до сих пор стесняюсь, — сказала тетя Натуся.

А было ей тогда хорошо за пятьдесят. Столько, сколько мне сегодня. С той поры я избегаю жаловаться на усталость.

ЯЭЛЬ. ПАВЛИК МОРОЗОВ

Истории этой уже много лет. Резидентура в больнице «Врата правды». Нас, резидентов, человек семь. Самая младшая, скажем, Яэль, уроженка Тель-Авива и выпускница тамошнего медфака. Самая старшая по срокам резидентуры — Рахель, училась в Иерусалимском университете. Остальные — «русские», приехавшие в страну с дипломами и опытом и начавшие карьеру с самого начала.

У Рахель большие амбиции и обостренное чувство справедливости, из-за которого, а не по злому умыслу, она нас всех закладывает начальству за любое отлынивание от обязанностей: не были на лекции, не написали, не подготовили. За эту пионерскую зорьку, играющую в ее заднице, Рахель получила прозвище «Павлик Морозов». У нас, у «русских», ясное дело, такое объяснять замучаешься... Нужно сказать, что больше всех она гнобит Яэльку, самую безответную из нас.

Утром захожу в ординаторскую. Яэль после дежурства и рыдает.

— Эта Рахель, сука, хуже Павлика Морозова, — говорит она сквозь слезы. — Ты не думай, я знаю, что говорю. Я прочитала про Павлика Морозова. На сайте газеты «Правда». На английском.

ДВОРА. 5 МАРТА

Я прихожу на работу и говорю Дворе:

— Сегодня пятьдесят лет, как умер Сталин.

Двора — медсестра, старая дева. Многие считают, что у нее тяжелый сварливый характер, но это не так. Мы с ней большие кореша. В свое время она страшно зауважала меня за то, что я пишу чернильной ручкой — тогда писал, — и за то, что знаю слово «декольте». Дворин папа был портным. Он говорил: «Как будем делать декольте? Как офицеру или как простому солдату?» Речь шла о британских мундирах. В начале 39-го он женился и уехал с женой из родного тихого Белостока в далекую и опасную Хайфу.

Собственно, из семьи, кроме них, не уцелел никто. И тот отцовский дядя, который писал ему: «У вас в Палестине тепло, поэтому, может, ты пришлешь пальто, в котором ты уехал?» — он тоже канул.

У папы с мамой, кроме Дворы, было еще пятеро, она — младшая. В тот год Двора как раз выходила на пенсию.

Вот я ей и говорю:

— Сегодня пятьдесят лет, как умер Сталин.

Мы говорим на иврите, и я предполагаю, что я говорю именно это. Двора смотрит на меня удивленными глазами и поправляет:

— Сдох.

Оказывается, я использовал торжественный глагол, соответствующий русскому «почил». Кто там был специалистом по этим глаголам, Безенчук?

Короче, я понял, что это мой пожизненный удел: я могу правильно склонять, знать много слов, но все равно буду не попадать в правильный лексический слой.

ОРЕН

Поначалу я успел поработать урологом. Период этот был коротким, безрадостным и богатым впечатлениями.

Публика в отделении подобралась пестрая и, не обидеть бы никого, немного быдловатая. Может, под воздействием будничной атмосферы, как сказал бы Бахтин — «телесного низа», тем более не очень-то функционирующего. Кое-что из той жизни я еще расскажу.

Старшие врачи были израильские евреи и один араб-мусульманин, о нем я уже писал.

—.—

...Был там старший врач, араб из Восточного Иерусалима, толковый доктор, оперировал неплохо. Но урология — это не только операции, но и куча мелких, и весьма болезненных процедур: места-то все больше чувствительные.

Я обратил внимание, что когда пациентами были арабы, то доктор тот не особо утруждал себя анестезией. Быстро и по живому делал манипуляции. Видимо, считал, что со своими можно не чикаться.

—.—

Молодежь, резиденты все — «русские», так сказать «Made in USSR», и один араб, но на этот раз — христианин, Андрей. Резиденты между собой называли заведующим «начальник», поскольку все остальные синонимы — «шеф», «босс» могли быть понятны окружающим. Андрей тоже говорил «начальник».

И вот появился новый резидент. Здоровый красивый парняга по имени Орен. Когда он был маленьким, «начальник» прооперировал его и заронил мечту прийти сюда врачом. Вскоре обнаружилось: Орен говорит по-русски, правда, не очень гладко. Оказалось, что он приехал в Страну из большого сибирского города после первого класса.

Меня удивляло: он говорил мне «вы», хотя разница в возрасте была невелика. Армейская служба, послеармейские традиционные путешествия в местах далеких и диких, долгая учеба приводит в больницы не юных врачей.

— Понимаете, когда я еще разговаривал по-русски, все были старше меня, — сказал Орен.

Но при этом матерился он богато, со знанием дела, правильно спрягая и сочетая.

— Понимаете, — объяснил Орен. — Когда мой папа едет за рулем...

Основной треп происходит перед общим отделенческим обходом. Один из резидентов, с редкой даже для еврея фамилией Гном, говорит:

— Орен. Ты же не был в России Ореном?

«Орен» на иврите «сосна». В иврите есть такие древесные имена, в том числе и Алон — дуб. Всех русских отрицательных коннотаций эти имена не несут, скорее, говорят о силе и красоте.

— Нет, — отвечает Орен. — Меня звали Лене́й.

— А папу? — не унимался Гном.

— Папу? Илюшей.

— Так ты у нас Леонид Ильич?

И все дружно заржали. Засмеялся и Орен. Но как-то неуверенно.

— Ты знаешь, кто такой Леонид Ильич, Орен?

Он смутился и пробормотал:

— Ленин?

